

Анатолий Субботин

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+



ВЕНЕЦИЯ

Анатолий Субботин

Венеция

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38566306

SelfPub; 2018

Аннотация

Русский турист, главный персонаж повести Петр Бутафорин, волею судеб ставший Пьеро, попадает в компанию замаскированных итальянцев и переживает ряд чудесных приключений. Всё это похоже на сон. Всё это и есть сон, как выясняется в конце. Бутафорин – чужой на этом празднике жизни. Хотя Моника дарит ему свою любовь, он не вписывается в иностранную компанию, и Джузеппе-Арлекин убивает его. Убивает причудливо, как и должно быть во сне. На обложке – картина Кеса ван Донгена "Набережная" 1921 г. Содержит нецензурную брань.

*Светлой памяти Натальи Казначеевой,
инсценировавшей и поставившей эту вещь*

1

Первым чувством Петра Бутафорина, когда он проснулся, было удивление, смешанное с испугом. Где я? Он лежал на двуспальной кровати с балдахином... Да нет! Вы не поняли. Балдахин – это не мужчина и не национальность. Это занавес, за которым кровать скрывается. Зачем скрывается? Ну вот вы же прячете под одежду свои интимные места. А что такое кровать, как не интимнейшая часть комнаты?!

Стены, хотя не столь стыдливы, но тоже были прикрыты. Гобеленами. Потолок украшала цветная мозаика. Что за черт! И только остановив взгляд на люстре венецианского стекла, Бутафорин вспомнил: он в Венеции. Прилетел вчера на лайнере и совершил посадку (он сел и несколько раз попробовал задницей матрас) весьма мягкую в отеле “Сибарит”. Сбылась мечта литератора! Признание, цветы, улыбки. Обещали много публикаций и гонораров. А пока – бесплатная путевка в лучший город Средиземноморья.

И новоявленный классик, облачась в турецкий халат, пожелали принять душ. Однако такового не нашлось. Унитаз был, а вот ванной или хотя бы простого рукомойника – ни намека! Станный номер! – подумал Бутафорин. Надо спросить у прислуги. Возле универсального столика, за которым

можно было есть лангустов, пить горечь измены, писать челобитную Папе Римскому или “Доктора Фауста”, выписывать кренделя, играть в русскую рулетку или с огнем, спать, уронив голову, или с женщиной негроидной расы, говорить по УШАМ и на санскрите, – возле столика, говорю, из стены торчал шнурок в виде русой косы с голубым бантом на конце. А под косою – надпись на французском: Дерни, деточка, за веревочку, дверь и откроется! Бутафорин французского не знал, но за веревочку на всякий случай дернул. Дверь открылась и вошла горничная.

– Мне бы умыться, – сказала литературное светило, и, вспомнив, что горничная не русская, поводило у лица ладонями.

– Сию минуту, господин, – ответила прислуга на хорошем русском, и протянув руку в коридор, щелкнула пальцами. Вошел рослый турок, отворил окно, снял с Бутафорина халат, и пока тот машинально пытался скрыть от дамы характерные особенности адамова костюма, сгреб его, Бутафорина, в охапку и выбросил на улицу.

Не х... себе! – чуть не вырвалось у Петра Петровича, да помешала вода, под которой он очутился. Он вынырнул. Разгневанно, растерянно, тяжело дыша. Что это? Нападение или шутка, сон или явь? Однако купанье освежило. А открытие того, что он не одинок (из многих окон отеля и соседних зданий вылетали такие же адамы и евы), успокоило Бутафорина. Значит здесь так принято. Их нравы. Впрочем, действитель-

но, зачем водопровод, когда вода под боком каждого дома? Чистая, прохладная, зелененькая! Лень спускаться самому – спусти с балкона ведро на веревке. И опять же экономия: соли не надо! Рациональные люди, эти потомки Понтия Пилата. Что и говорить, умеют умываться!

Их гость разводил перед собой руками, разгребал воду. Ее хватало. Венецианский залив слегка волновался. Всякий раз, оказавшись на гребне очередной волны, Петр Петрович видел купола собора Святого Петра, сияющие в брызгах солнца. Ему припомнилось:

Соборы средь морских безлюдий
в течение музыкальных фраз
вздываются, как женщин груди,
когда волнует их экстаз.

Без сомненья автор этих строк Теофиль Готье тоже здесь умывался. Не на этом ли самом месте? Больше века назад.

Улочка впадала в Адриатическое море. В трехстах метрах от отеля подстерегал простор. Корабли там блуждали. Вдруг один из них – трехмачтовая каравелла – втиснулся в улочку. Большой, обросший. Жерла пушек, которыми оцетинились борта, едва не касались зданий. И – вот те на! – “Веселый Роджер” страшно улыбнулся Бутафорину с развернутого ветром флага. И недобрые лица с кинжалами и пистолетами в зубах – для полноты картины.

Начинается! – подумал Петр Петрович. Похоже, здесь каждый день маскарад. Вместе с другими, совершавшими водные процедуры и вспыхнувшими восторгом любопытства, он поплыл навстречу старинному чуду. Поплавки голов и пираты приветствовали друг друга. Первые – смехом и криками “ура”. Вторые – пальбой из пистолетов. Хорошая мишень – голова, качающаяся на волнах! Сразу ясно, попал или нет. Матросы как будто иногда попадали. Мишени исчезали под водой. Вот ведь подыгрывают! – добродушно усмехнулся Бутафорин. Но улыбка не задержалась на его губах, поскольку на месте близ нырнувшей головы появилось красное пятно. Кровь! Нет, не может быть! Нет, тут что-то нечисто! На всякий случай от корабля подальше. И он устремился обратно, стараясь лишний раз не высовываться. Пуля просвистела ему на ухо о том, что он поступил правильно.

Тем временем каравелла подошла к отелю. Увидев громадную вывеску “Сибарит”, пираты взорвались от негодования. “Уюта нет, покоя нет”! С этим принципиальным кличем они дали залп из всех пушек обращенного к зданию борта. Клич – на английском, залп – почти в упор. Как с перебитыми ногами, дрогнул многоэтажный отель и рухнул многоэтажный отель, погребая под собой агрессора.

2

К опущенному в воду Бутафорину подплыла красивая брюнетка.

– Солоно! – сказала она. – Не плачьте, лучше плюньте.

– Мне негде жить, – сказал поэт и по совместительству прозяц. – Мне нечего есть. Мне не во что нарядиться, и главное: у меня нет бумаги и шариковой ручки. И даже вил у меня нет, чтобы писать на воде.

– Вилами пишет только Нептун. А жить ты можешь пока у меня. Поплыли. Моя квартира неподалеку. Но прежде надень вот это. А то задохнешься с непривычки.

Девушка подала ему маску и помогла надеть акваланг. Ну вот, теперь и я в маске, подумал Бутафорин. Карнавал продолжается. И он уже почти не удивился, когда, нырнув, заметил, что у красотки не ноги, а рыбий хвост.

В светлой изумрудной влаге. Двое. Он и она. Плывут, мило беседуя. На языке глухонемых. В силу, так сказать, объективных причин. Как капитан Немо. Тишина. Тишине не передать всей прелести минуты. Включаю музыку. Что-нибудь светло-печальное. Анданте. Он и она. На нем – только маска и акваланг. На ней – ничего, кроме хвоста. Как она так может? Как она может дышать, то есть не дышать? Как ты подолгу обходишься?

Я привыкла, освоилась, адаптировалась. Одним словом, эволюция. Раньше я была обычной девочкой. Потом нашу квартиру (кстати, мы приплыли) затопило. Это первый этаж. А вообще-то уровень воды достиг уже третьего. Другого жилья не нашлось. Пришлось остаться здесь, пришлось осваиваться. Теперь нескольких глотков воздуха мне хватает на

сутки. Я молодая, сильная. А вот родители не смогли, они захлебнулись. Проходи, точнее заплывай. Будь как дома. Как меня зовут? Теперь уже Наяда. А тебя? Петр? Значит Пьеро. Сейчас, Пьеро, мы будем обедать.

Бутафорин сидел на резиновом надувном диване и пускал пузыри, то есть дышал. Наяда гонялась по всей АКВАртире за стайкой рыб. Наконец, ей удалось поймать одну из них с помощью сачка. В ее руке блеснул клинок нержавеющей стали. Она ловко выпустила рыбе кишки, отрезала голову и соскоблила серебро чешуи.

– Извини, что не горячая, – сказала она. – Огонь здесь не приживается. Зато самая свежая.

Они ели, сидя рядом и нагишом, как любовники. Девушка пристально глядела в одну точку на теле поэта. Заволновалась точка и стала расти.

Не надо жалеть об одежде. Так тебе больше идет. Да и отсырела бы здесь одежда!

У нее маленькая упругая грудь. Интересно, вместится ли она в моей ладони?

Она взяла его за руку, если не сказать больше. Он хотел поцеловать ее, да рот был занят шлангом акваланга. Он хотел снять с нее хвост, да тот не давался.

– Он настоящий! – сказала она. – Я же сказала, что адаптировалась.

Как я люблю ее, думал он. Но как же я буду любить ее, если у нее не раздвигаются ноги!?! И потом, я совершенно

не в силах питаться сырой рыбой.

Ну же, давай, обними меня! – привлекала его к себе русалка. Все-таки она была привлекательной. Совсем девочка. Он обнял. Она стала таять. Не фигурально, не в смысле – испытывать наслаждение. Хотя и это, возможно, имело место. А буквально. В его руках. Прямо на глазах. Она была холодна, как нож, как рыба в нейтральных водах, как лунный пейзаж. Она таяла подобно снегам Килиманджаро, слезе крокодила, семейному бюджету, жизни, наконец. Бутафорин в ужасе отдернул руки. Но было поздно. От нее остались лишь прекрасный парик волос да пресловутый хвост. Скорей, скорей на поверхность! Все равно чего: моря ли, кошмара или этого мира.

3

Проходил вдоль канала продавец надувных шариков. Покупайте замки! – кричал. – Покупайте воздушные замки! – Ему навстречу шагнул из воды голый гражданин с аквалангом за спиной.

– А эти замки для жилья пригодны? – смущенно спросил он. – Я тут как раз остался совершенно без крыши.

– Да, разумеется, – ответил торговец, – для чего же они еще? Правда, не все в них жить могут. Они по плечу только тонким натурам.

– О, тогда я подойду! За худобу друзья прозвали меня Дон-Кихотом... Дайте мне, пожалуйста (глаза заблудились в

надувном многоцветье), дайте мне вон тот белый. Сколько он стоит? Впрочем, нет! Оказывается, в кармане у меня – ни сольдо. Не говоря уже о лире... Лира есть, но не та, не ваша. Да и не в кармане. Да и не отдам я никому свою лиру.

– Наша, наша! – улыбнулся негоциант. – Воздушный замок стоит один акваланг и одну подводную маску.

Неужели!? – обрадовался Бутафорин. Вот повезло-то!

И они обменялись товарами.

– А знаете, – сказал на прощанье владелец шаров, – вы мне понравились. Забирайте всю партию. Про запас. Жизнь длинная. Чтобы у вас всегда была крыша над головой.

Бутафорин взял огромный надувной букет и взлетел на седьмое небо. Жильем он теперь обеспечен! Да еще каким! Маркиз! Осталось завести хозяйку и одежду! Ну, с хозяйкой проблем не будет: любая теперь сочтет за честь. А спрашивается: зачем одежда, если завелась хозяйка?!

Венеция. Море в граните и гипсе. Архитектура. Барокко. Мосты и мосточки. Каналы и гондолы. Голуби и чайки. Без 20-минут закат. Бриз теплый и влажный. Запах водорослей. Запах острых приправ из ближайшей харчевни. Праздная публика лениво прогуливается. Площадь Дружбы. Голый и голодный Петр Петрович на нее вышел.

Он только что съел пирожок, выменянный им у мальчишки за три воздушных замка. Но не насытился он. И взгляд его был печален. Но, как говорится, глаза грустят, а руки делают. Одна рука Петра Петровича сжимала остаток замков, а дру-

гая – нечто менее воздушное, однако не менее существенное для человека. Не воздухом единым!

– Смотрите, какой оригинальный костюм! – воскликнул женский голос. И к Бутафорину подошла компания ряженных молодых людей. – Какой оригинальный образ! – сказала девушка, одетая одалиской.

– Не нахожу ничего оригинального! – заметил парень в костюме центуриона. – Голый мужик с шариками и всё тут!

– В том-то и шарм, что с шариками. Это как раз все и решает. Это как шкиперка. Вроде и нет бороды, и тем не менее она есть. Это напоминает мне дикого воина с развевающимися павлиньими перьями над головой. Это костюм, но костюм слегка отстраненный.

Пока одалиска проявляла себя как модистка, откуда ни возьмись, налетели безумные осы. У них было свое мнение насчет воздушных шаров. Они приняли шары за цветы, а себя они давно воображали пчелами. С целью опылять, опылять и еще раз опылять рой тигровых пуль врезался в букет. Мини-взрыв. Нет, два мини-взрыва. Один – надувного жилища. Другой – хохота компании. – Ну, что ты теперь скажешь о его костюме, Моника? – Действительно, теперь его платье – банальнее не бывает... Хотя постойте, постойте-ка...

Бутафорин от неожиданности и огорчения поник руками. Какая наглость со стороны иностранных ос! Правая рука Петра Петровича опустилась с нитками, уже не связывающими его с мечтой о доме. А левая – всего на мгновение,

в общем, так сказать, порыве забыв о своей роли фигового листа. Но спохватилась левая и быстро вернулась в прежнее положение. Однако и мига было достаточно, чтобы у наблюдательной Моники появился интерес к имени незнакомца.

– Как тебя зовут, дикий воин? Давай знакомиться. Давай дружить. Примыкай к нашей когорте. Но к нам идут с открытым – чуть не сказала – сердцем. А ты как будто немного зажат. Откройся. Не бойся. Покажи, что у тебя в руке.

– Пьеро! – на итальянский манер представился Петр Петрович, вспомнив, как его называла русалка.

– Перо! – засмеялась Моника. – Вы слышали? У него там перо! И что же ты им написал?

Откуда она знает, что я писатель!?! – подумал Бутафорин, плохо успевавший за быстрым итальянским.

– Да не перо, а Пьеро! – подскочив, радостно хлопнул его по плечу некто, одетый арлекином. – Тебя-то, дружище, нам и не хватало. Но где же твой знаменитый комбинезон? Не притворяйся, что не понимаешь! Признайся, хотел улизнуть от нас, своих друзей, уединиться ради глупых стихов. Думал: переоденусь, точнее, разденусь, и никто меня не узнает. Шалишь, брат! Я тебя сразу узнал. Я тебя за версту в кромешной тьме почую. Ты пахнешь заунывными песнями. Твоя улыбка натянута и неестественна. Брось. Она не способна скрыть твое настоящее лицо. Прекрати, говорю, улыбаться! Сейчас сорву с тебя маску, сейчас я тебя разоблачу, то есть облачу.

Арлекин помогал бегу своей речи жестикуляцией. Ну и

темперамент у этих итальяшек! И куда, мать его, несется! При слове “облачу” в руке арлекина очутился белый комбинезон с кружевным вкруговую воротничком. Носи и помни. Что бы ты делал без такого друга, как я? Бутафорин примерил. Рукава болтались до колен. Идиотский костюм. Да что поделаешь? Все лучше, чем нагишом. Рука его держать устала.

Арлекина звали то ли Джузеппе, то ли Шимпанзе. Чтобы попасть в точку и не обидеть героя, придется использовать оба имени. Но ты, читатель, учти: Джузеппе и Шимпанзе – это один человек. Шимпанзе сказал: – Теперь порядок. Теперь я спокоен. Теперь ты – Пьеро и ты под рукой. Джузеппе хлопнул Петра Петровича по плечу. Шимпанзе ущипнул Бутафорина за ягодицу.

– Нашей когорты прибыло! – сказал центурион. – Пойдем дальше. Возьмем приступом “Раковину”. Разрушим дюжину фалернского. До фейерверка еще целых два часа.

Компания отправилась. Везде смеркалось. Впрочем, не то слово. Ночь упала, как черный театральный занавес. Впрочем, не черный. Пули огней изрешетили его. Звезды, фонари, реклама. Сверху, со всех сторон, отраженьями в воде – под ногами. Терлась на ходу о Бутафорина Моника. Говорила томным вполголосом: – Зови меня просто Моня. Хорошая бумага есть у Мони для твоего пера. Ты зальешь ее чернилами? – Неужели писчая?! – радовался Петр Петрович. – Неужели первый сорт!

Трактир назывался “Раковина”. Видимо, ход мысли у хозяина трактира был такой: всякий человек вне данного заведения представляет собой нечто скользкое, студенистое, беспомощное. И только войдя в эти стены, он обретает форму, крепнет, чувствует себя как дома. Уже не лягушка, но рыцарь. Рыцарь на отдыхе. Добро пожаловать домой, в доспехи! Добро пожаловать в раковину!

Что ж, достаточно оригинальная трактовка сущности трактира, и отчасти верная. Однако вино действует на людей по-разному. И верней было бы назвать питейное заведение более общим словом – “Метаморфоза”. Не совсем понятно почему? Сейчас объяснюсь. Во-первых, в предложенном мною названии есть звук М. Встречающийся дважды и как бы выпирающий из слова он прозрачно намекает, о каком превращении идет речь. Во-вторых... Простите. Потом. У меня меню. Надо делать заказ. Меню у меня.

Конечно, фирменное блюдо – устрицы с лимонным соком. Дальше – сладкий перец, фаршированный овощами. Затем – морской окунь. Наконец, ростбиф с кровью, окруженный строганным хреном. Чем будем запивать? Тут мнения не совпали. У меня мнение. Свое мнение у меня. Шимпанзе настаивал на шампанском. Центурион ратовал за фалернское. Чего-нибудь покрепче был не прочь Петр Петрович. Заказали хорошее и разное. Но даже если бы пили что-то одно,

скажем, сакэ, этого нельзя было бы определить по дальнейшему поведению участников. Настолько оно, это поведение, различается. Одни от выпитого крепнут на радость владельца “Раковины”, становятся твердыми как доска. Другие, напротив, делаются мягкими подобно стельке. Третьи...

Сосед Бутафорина по столу, судя по одежке – шут, сказал: – Вообще-то мне пить нельзя: я пью мертвецки. Сказал и осушил бокал. И звякнув растущими на голове бубенцами, свалился со стула замертво. Хорошо, что не с коня! Представить страшно – если бы с коня. Ну вставай, хватит дурачиться, нас не проведешь. Мы видим, что конем тут и не пахнет. Перестаньте, господа, – заметил доктор, – шут не шутит, у него нет пульса. Уж не хотите ли вы сказать, что он мертв? Я не знаю, какой он, только сердце у него не бьется.

Компания смущенно опустила глаза. Каждый – в свою тарелку. Словно неприличный звук кто-то издал. Моника так и сказала:

– Этот шут всегда выкидывает что-нибудь неприличное.

– Успокойся. Это его последняя шутка, – заметил Джузеппе. – И держу пари, самая удачная.

– Мы несем потери, – сказал центурион.

Тем временем официанты со знанием дела приступили к соборованию тела. Они завернули его в скатерть и привязали к ногам ведро.

Друзья, родственники, музыканты и посторонние лица, помянем покойного добрым словом, помолчим минуту. О

мертвом либо хорошее, либо ничего.

Присутствующие в зале немного помолчали. Затем выпили и закусили. Центурион и арлекин подхватили экс-друга и, выйдя из зала торжественным шагом, бросили в канал. Во-да ему пухом! Тело беспомощно валялось на поверхности. Даже ко дну оно не могло идти и требовало буксир. Послед-няя воля. Ведро, набрав в рот воды, стало набирать и ско-рость. Белоснежный кокон, размываемый зеленым фоном. Аист, исчезающий в небе. Не на шутку прощай!

Друзья вернулись. В харчевне по инерции стояла тишина. Ни чавка, ни хрюка. Вдруг разрыдался кто-то громко. Что с тобой, Моника?

– А поцеловать... – выдавила та.

– Что поцеловать?

– Поцеловать забыли.

– Стыдитесь, милая! Ваша сексуальность становится неприличной. Вас возбуждают даже мертвые.

Но быстро успокоилась Моника. Шимпанзе, сидя рядом, гладил ее по ляжке левой рукой, а правой закусывал. То же делала и сама одалиска, только ее рука гладила сидящего сле-ва Бутафорина.

Петр Петрович, увлеченный морским окунем, поначалу реагировал плохо. Голод не девка, в смысле сильнее девки. Однако голод был одинок, а на стороне одалиски, кроме оку-ня, были 150 грамм ямайского рома. И разомлел российский литератор. Да что там! Голова пошла винтом у Бутафорина.

Тем более что застенчивые девичьи пальцы уже всюю шныряли по его эрогенной зоне.

Какой милый город, какой славный народ – эти венецианцы! Приняли меня как родного. Такое ощущение, будто я давно их всех знаю. Или по крайней мере уже бывал здесь когда-то. Вот проходит мимо добрый улыбающийся официант. Вот за соседним столиком весело беседует компания, слегка перекрикивая музыку. Вот смешной сигаретный дым кувыркается возле люстры. А Моника. О! Что она делает? Что ты делаешь? Скажи, откуда ты пришла? То есть это я пришел, а ты тут и была. Желтые лиф и шальвары, рубиновые губы и ожерелье, черные волосы. Прекрасное сочетание цветов. Надо написать роман под названием “Красное, черное и желтое”. Как российский флаг – трехцветная. О! Сейчас я... Сожми его сильнее. Но мешали брюки. Петр Петрович попытался расстегнуть ширинку (шашки наголо!), но таковой не оказалось. Проклятый комбинезон! Отчего я не пью? Нет, я пью. Ваше здоровье. Будем знакомы. Вашебудем. Она ласкала его. Но хотела ли она его? Спокойствие Моника смущало Бутафорина. Вести застольный разговор и закусывать. Как ни в чем не бывало. словно эта рука принадлежала не ей. Петр Петрович пробежался по руке взглядом – от кисти до плеча. Ведет к ней, к ее шее и голове. Никаких сомнений. Нет, я не прошу прямо тут отдаться. Понимаю: не место. Хотя самое время. Но где томные поглядывания, где улыбки, сопровождающие рукоприкладство? К чему вдруг

такая конспирация? Инкогнито проклятое. Прихоть романтической природы? О, женщины! Ты играй, играй, да не заигрывай. Все-таки что же? Страшное самообладание или полное равнодушие? Сейчас проверим.

И поэт положил свою ладонь на соответствующее место одалиски. Но там уже была чья-то волосатая явно мужская рука. Здравствуйте, сказал Шимпанзе. Куда же вы? Оставайтесь. Как гласит русская поговорка, один любовник – хорошо, а два – лучше. Не правда ли, Моника? Синьорина говорит: си. Всем своим существом. Так что вернитесь, не обижайте даму. Вы хотели вашей ручкой СЮДА? Милости просим. А я пока зайду с тыла.

Черте что! – подумал Бутафорин. Но руку на пульте женского тела оставил. Тройственный союз. Антанта. Анданте. Капитан комического корабля, куда летим? Не залететь бы!

А музыка лилась, вино звучало, речь крепчала и множилась.

– Гарсон, кружку пива!

– Слушай, приходит один мужик домой и находит там лошадь. По едва заметным признакам он узнает в ней свою...

– Кружку пива!

– ... жену. Ну вот, говорит он примирительно, теперь я собственными глазами вижу, что ты у меня работаешь, как...

– Антонио, а тебе не кажется,

– Кажется.

– ... что сегодня в ростбифе мало крови?

– Мало. Гарсон, кружку крови! Тьфу ты! Я хотел спросить, почему у вас мясо малокровное?

– Корова такая попалась, синьор. Молока, вроде, хорошо давала, а вот с кровью подкачала. Ведь тут не угадаешь. Сколько она дает молока, видно сразу, а уж сколько она даст крови, не знает никто. Кровь – это игра втемную.

– Правильно. Неси карты. Сыграем в покер.

– Ты сегодня просто блеск, Джули! Если позволишь, следующее свое полотно я посвящаю тебе.

– Она предпочла бы хороший кусок шелка или кожи. Лучше посвяти ей свою лысину.

– До фейерверка осталось полчаса. Поэтому давайте выпьем.

– Верно, давайте. У нас еще осталось.

– Что касается меня, я пью, и все мне до фейерверка!

– Господа, предлагаю выпить, а потом, глядишь, и спеть.

– А вдруг да и сплясать.

– Васька, жги!

– Кто сказал “Васька”? – удивленно воскликнул Петр Петрович. – Здесь вам не Россия. Здесь не может быть никаких Васек, потому что не может быть никогда. А с другой стороны, подумал он, Венеция ли это? Почему я понимаю их? Ведь я по ихнему ни в зуб. Или они меня. Почему мы понимаем друг друга?

– Успокойся, Пьеро. Это ты сам сказал “Васька”.

Тогда Петр Петрович выпил, успокоился и затосковал по

родине. Мать Россия моя! О Русь моя, жена моя! Нет, это уже было. Надо что-то оригинальней. Россия – дочь. Так, пожалуйста, лучше. О, дочурка, как ты там без папы? – Папаша, гони монету на ботфорты! – донес до него норд-ост. Уж эти мне подросшие созревшие налившись девочки девки девачи, снимающие с отцов и братьев последние сапоги. Рядятся в мужское не для того ли, чтобы сильнее подчеркнуть свою женственность? Мужчин это возбуждает. Как! На их территорию проникло инополовое существо?! Эти голени, обтянутые ботфортами. Эти лядвея, распирающие гусарские рейтузы. Эти странные воины, всегда готовые сдать свою позицию и раскинуть бивак. Россия Петровна. А что, я Петр! Хоть и не первый.

Бутафорин всплакнул. Но Бутафорин вспомнил, что рядом с ним есть одалиска, которая желает ему добра. Она делает ему приятно, а он не восприимчив. Надо пойти ей навстречу. Надо сосредоточиться. Он стал ерзать на стуле и повторять: среда точка, точка среда. Его рука быстро шарила по пульту управления. Моника замолчала и повернула к нему голову. Губы разжаты, в глазах туман. Она шла на спуск. Тут снаружи что-то ухнуло и окно на миг стало разноцветным калейдоскопом. Петр Петрович замер. На его белом костюме выступило мокрое пятно.

– Фейерверк! – рявкнул центурион. – Все на выход!

– А кое-кто уже вышел, – сказала Моника, улыбаясь и облизывая свою влажную ладонь.

На конечном пункте приземлились они.

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Стой, кто идет?

Это я, сперматозоид. Мильоны вас, нас тьмы и тьмы. И пусть на своем животворящем пути мы падаем как мухи, как бесчисленные рядовые, – один из нас все-таки достигнет цели. Он возьмет вашу крепость. Он выйдет в дамки, то есть в матки. Он засеет вашу пустыню. Здесь будет город-сад (просьба: не путать с маркизом). И жемчужина нищету раковины украсит.

Все вышли из “Раковины”.

5

Улица ошеломила Бутафорина. Сразу среди трех морей оказался он. Как Улисс. Было шумно и тесно от моря как такового, моря огней и особенно от моря людей. Казалось, вся Венеция под вечер... впрочем, какой вечер!.. ночь всю на дворе... погулять как будто вышла. Ай-яй-яй! Столько праздных и бездельников. Посадить бы их за письменные столы да дать каждому по шариковой ручке. И чтобы не меньше романа в год страниц на пятьсот! А то пиши за них Лев Толстой, отдувайся за всех. И что? В итоге: преждевременная смерть от переутомления, в расцвете, так сказать, лет. А он писал – не дописал. А ведь еще бы мог. Безобразия! Посадить, одним словом! Моня, почему людей как народу? Праздник, говоришь. Понятно. Созрели гроздья фей-

ерверка в саду у дяди Бога. Пришли на зрелище. Не хлебом единым. Хлеб-то у них есть, не то что у меня! И как это у вас часто? Каждый день!? Нет, вы слышали?! У них ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Кошмар! Правильно, Монечка, не кошмар, а карнавал. Слова путаются от избытка впечатлений.

Трах-бах! И небо, разбитое вдребезги, падает на город разноцветным градом. Пушки, ракетницы, петарды, шутихи шутить изволят. Пахнет порохом. Но не только. Потной, одухотворенной, в смысле пахнувшей духами толпе было на пешеходной дорожке (читай: на набережной) тесно. Здесь собрались одежды всех времен и народов. Яркие, экзотичные, невиданные. Маркие, хаотичные и упитанные. Иные пешеходы вываливались не по своей воле на проезжую часть (читай: в канал). А там – осторожно! – злое движение. Туда-сюда сновали лодки, барки, одним словом, гондолы.

Поберегись, зашибу! – кричал лихой гондольер встречному коллеге и брал весло, как копьё, наперевес. И веслами сшибались они. И часто один из них, а то и оба оказывались в черной, как нефть, воде. Так что никто и никогда уж не мог их там разглядеть. Нефтяник – опасная, темная профессия. Делайте ставку на нефть! А что оставалось делать!? Лодки без руля и без ветрил беспомощно вертелись, путались, как раненые, под ногами, пока здоровые гондолы не заклевывали их. Не так ли и ты, поэт? Мешаешься на пути целеустремленной к рублю жизни. Сам без рубля. Но ты предпочитаешь

гибель нефть рублю рулю царю в голове. А что тебе остается? И что тебе помогает сделать ставку на гибель? Одно лишь презрение.

Но хотелось бы опочить на родине. По-человечески. Простившись с женой и дочкой, сердцем, печенью и почкой, стать земляною кочкой. Лечь в родную сырую землю, а не в чужую сухую воду. Но вот только узнает ли родина-отец? Без документов, в странном иностранном костюме.

– Ваш паспорт?

– Его взорвали пираты.

– Без паспорта вы не русский.

– У меня нет денег. Позвольте хоть в тюрьму сесть.

– Без паспорта ты не человек.

– Ну позвольте хоть в землю зарыться!

– Без паспорта ты не труп.

Да, век России не видать! Впрочем, кос её ржанных, глаз её голубых – тоже. Надо пока пристраиваться здесь.

Одалиска жалась к пьеро. Моника прижималась к Петру Петровичу. Парча терлась об атлас. В толпе затерялись они. Друзей нигде не было видно. Бутафорин не любил толпы. Она казалась ему безликой и враждебной. Даже если пела и плясала. Он вспомнил советский парад. По Красной площади шла колонна крепких парней. И все с гармониями. Заметьте, не с Монями. Это бы куда ни шло. А именно с гармониями. Вот что было жутко. Это было страшней, чем если бы они шли с автоматами Калашникова. Казалось, за спол-

зающей маской безумие неприкрытое мелькнуло.

Где ты живешь, Моня? У тебя есть квартира? Целый дом!? И ты в нем одна!? Монечка, я люблю тебя! Предлагаю тебе свою руку и сердце. Впрочем, что мелочиться! Всего себя тебе предлагаю. Давай жить как муж и жена. И начнем прямо сегодня же.

Начнем и кончим, и снова начнем, – был ответ одалиски.

Толпа расступилась. На нашу парочку двигался, простите за ходульную фразу, некто на ходулях. С головы до ног он был обтянут черным матерьялом, на котором спереди и сзади белело изображение скелета. Смерть на костылях.

– Бежим, а то сейчас накостыляет! – увлекая за собой Моню, крикнул прозайка.

– Такси! – крикнул он, стоя на причале.

И к ним подплыла гондола с прибитой к борту шахматной доской.

6

Хлопки фейерверка, музыка и гул отдалились, стали глуше. Гондола скользила по узкой сумрачной улочке. Редкие фонари, редкие звезды. Под тентом, где прилегли Петя и Моня, было еще темнее. Стоящий на высокой корме лодочник что-то напевал вполголоса, отбивая ритм веслом по воде. Хотя почему “что-то”? Со всей ответственностью можно заявить: он напевал баркаролу. Он был без головы: ее мешал видеть нависающий тент. В остальном – гондольер как гон-

дольер: изящные башмаки с “розочками”, белые гольфы, короткие (до голеней) атласные штаны, светлая шелковая сорочка и темный бархатный жилет.

Мой маленький дружок, тебе, конечно, известно, чем занимаются дядя и тетя, когда остаются наедине. Да, они разговаривают о погоде. Впрочем, необязательно наедине. Случается, в разговоре принимают участие и другие дяди и тети. Но все-таки, поверь моему опыту, о погоде лучше всего говорить с глазу на глаз, тет-а-тет, визави, лоб в лоб. Нет, лоб – грубовато. Вот лобок – хорошо. Вот и Петр Петрович с Моникой... Тут, правда, был еще один дядя. Лодочник. Но, во-первых, он был за рулем, и ему было нельзя. А во-вторых, у него не было головы, поэтому можно считать, что его вовсе не было.

– Отчего ты так жадно дышишь? – спросил Бутафорин.

– На меня давит атмосфера в одно человеческое тело, – ответила одалиска.

– А мне кажется, напротив, давление сегодня понижено: в моем столбе явно поубавилось ртути.

Петр Петрович задумался о будущем. Последствия надо предвидеть. Неожиданности ни к чему. Ни ему, ни ей. Он вышел из младенческого возраста. Из-под тента к корме он вышел.

– Простите, у вас презерватива не будет? – обратился он к гондольеру.

Ничто не мешало зрению, и он увидел: а парень-то с го-

ловой! Однако наличие головы у гондольера производило не менее странное впечатление, нежели ее отсутствие. Казалось, левая половина черепа (фас) выступала оппонентом правой. Она не имела волос, брови, ресницы и даже глаза. Вообще она выглядела много старше. Ей можно было дать лет 70, тогда как в целом лодочнику было не больше 30-ти. Стройный атлет. И красивый, если бы не эта жуткая странность.

– Профессия налагает отпечаток, – сказал он глухим баритоном. – Постоянно приходится крутиться между жизнью и смертью.

Он достал из стоящей рядом коробки упаковку “изделий” (выражаясь языком советских аптекарей) и протянул её Бутафорину. Какая предупредительность, подумал Петр Петрович. Неужели работать таксистом столь опасно?!

– В другое время и в другом месте ты не получил бы от меня “резинки”, – сказал таксист. – Я против противозачаточных средств. Если все начнут ими пользоваться, я останусь без работы. Но мой девиз: исполни желание пассажира! Ведь это желание последнее. Так, кстати, если ты обратил внимание, называется мой челнок.

Вдруг не по себе почему-то стало Петру Петровичу. Чужая страна, поздний час, бандитская рожа делает жуткие намеки. – Вы хотите сказать, что у меня больше не будет желаний, что я...

Рожа молчала.

Бутафорин, обнаглев от испуга, крикнул: – Ты скажи хотя бы, как тебя зовут?

– Харон, – был ответ.

Знакомое вроде бы имя! Где-то он о нем слышал. Или читал. – А фамилия как?

– Летов.

– Неужели русский? – удивился Петр Петрович.

– Нет, скорее я интернационален.

Все ясно стало инженеру душ. Значит, еврей! Между тем гондольер разговорился. Словоохотлив оказался каналья!

– Я, – говорил он, – должен исполнять любые желания. И слава богу, что человек не требует напоследок много. Иначе мне пришлось бы тянуть за собой баржу. А так все людские прихоти умещаются в этой коробке (он пнул коробку, стоящую под ногами). То ли по причине растерянности, то ли из-за чувства прощанья, когда обычное становится дороже, – только человек напоследок вспоминает, как правило, что-то незначительное, слишком земное, то, с чем имел дело всю жизнь. Часто просят покурить и выпить. Реже хотят заняться сексом. На этот случай для мужчин у меня есть надувная кукла, а для женщин – набор пластиковых пластичных эластичных пенисов. Правда, это только часть мужчины. Но, я бы сказал, корневая часть. И дамы со мной вроде бы соглашались. Но все-таки предпочитают целое. В моем лице. Еще реже людей интересует сборник молитв или библия. В роли заклинателя грехов опять же ваш покорный слуга. И гребец

и продавец и пастырь овец. Но я заболтался. Тебя ждет дама. Спешу. Меа. Аминь. Не оброни “резинки”. Я их дал тебе еще потому, что не выношу, когда дети остаются без родителей. Мальчик, где твой папа? Умер? Да как он смел! Бросить ребенка на произвол судьбы. Экое свинство! Бедные бедные дети!

Гуманный гуманный Харон. Не человек, – альтруист.

И снова лишь всплески весла. Резвится в воде шалопай. Входит в воду, как в масло. Как сыр в ней купается. Вероятно, слово “влагалище” происходит от слова “влага”.

Лишь плавный напев гондольера. Одинокий голос в лабиринте ночных улиц. А под тентом было поздно. Отдыхала чья-то совесть.

Лишь фонарь идущего вельможи
на мгновение выхватит из мрака
между кружев розоватость кожи,
длинный ус, что крутит забияка.

Так, отсекаем лишнее. Вельмож отсекали еще в 17-ом. Усы Петр не нашивал аж с петровских времен. Да и забиякой он не был. Фонари мимо проносились. Что правда то правда. Но работал лишь каждый пятый. О чем это говорит? Это говорит о том, что в городе острая нехватка хулиганов. И некому стало “фонарь” поставить.

Подытожим, что осталось. Мрак да любовь. Любовь во

мраке. Но разве этого мало? Когда тело к телу, зачем свет, зачем глаза, когда тело к телу! Любовь – это игра вслепую втемную ва-банк. Любовь любит мрак. Одалиска любит пьеро. Петя любит Моню. А он любил – не долюбил. “Последнее желанье” ткнулось носом в причал.

За проезд назвал цену извозчик. 10 тысяч лир. Моника вопросительно взглянула на Бутафорина. Но она же видела, но ты же видела: я совершенно гол! Ладно, футбол, сказала она, посиди под тентом. Я возьму это Тело на себя. Только, чур, не подглядывать!

Петр Петрович присел на скамью.

И дьявол взял меня и бросил
в полуистлевшую ладью.

И там нашел я пару весел,
и парус ветхий, и скамью.

Было тихо. Потом со стороны кормы послышалось тяжелое дыханье. Лодка слегка стала раскачиваться. Ветер что ли подул? А ведь было тихо. Мертвый штиль был. Ничего не оставалось Петру Петровичу, как ждать. Вы служите, мы вас подождем. Наконец Моника крикнула: готово! И непризнанный гений шагнул из-под тента. Кажется, барометр падает, сказал он. Кажется, шторм недалече. Но капитан Харон был спокоен и улыбался. До свиданья. Всего доброго. Моника улыбалась тоже. Улыбнулся и Петр Петрович. Почуди-

лось. Померещилось. Взбрело. А ведь этот Харон неплохой парень, с ним можно договориться.

7

После утреннего кофе Моника отправилась к модельеру, а Бутафорин вышел прогуляться. По улице размышлений пролегал его путь.

Так. Дом и жену он нашел. Чудесно. Правда, они пока не расписаны и он еще не прописан. Но за этим дело не встанет. Удостоверенье личности он получит без проволочек: каждый встречный готов засвидетельствовать ему своё узнавание. Пьеро – так Пьеро, черт с ним! Другая страна – другое имя. С волками жить... А в России он теперь вне закона. Это освобождает его от обязательств перед оставшейся ТАМ семьей. Выходит, ТА женитьба не в счет, и никто не смеет обвинить его в двоеженстве. Это все равно что обвинять в измене мертвого! Согласитесь, у мертвого своя жизнь.

Дом и жена. Однако человек должен иметь еще что-то. Что же? Ага, вспомнил! Человек должен иметь своё дело или, проще говоря, приносить домой деньги. Моня у меня есть, нужны мани. Где же их взять? Заработать? Но я ничего не умею, кроме как самовыражаться на бумаге. (Тут мы заметим в скобках, что Петр Петрович кривил душой: он мог, как Харон, многое. Он мог и дворником и сторожем и даже, не поверите, ночной няней приходилось ему. Но ленился он, не хотел, а оправдывался тем, что махать метлой в то время

как ты призван жить с выражением – значит прогневить Всевышнего. Ну его, связываться! – думал он и не махал.)

Пойти, разве, продать рукопись? Но кто ее здесь поймет! Ее и на родине-то пока не расчухали. А вроде бы пользует один язык. В своей стране я словно иностранец. Привыкли глотать разжеванный мякиш от Пушкина и Толстого. “На классике выросли!” Хороша классика. Размазывать по тарелке там, где достаточно намека. Впрочем, я несправедлив. Я сужу с кондачка, с колокольни, с дирижабля. Все мое время. И мой упрек не авторам прошлого, а читателям настоящего. Читатель, ты ведь знаешь мою подружку Моню? Я еще на ней жениться хочу. Переспать с женщиной и не жениться. Что я, подлец!?! Обязательно женюсь. Так вот. Монечка следит за модой. Она знает, что носили вчера, что носят сегодня. Но она идет к модельеру, чтобы вместе с ним изобрести что-то новое. Она хочет быть впереди. Хотя бы немного, хотя бы на полшага. Читатель, я твой модельер, ты моя Моника. Ты пришел ко мне. Не забыл ли ты зубы? Где твой интеллект и эрудиция? Я не дам тебе манной каши, не надейся. Ты должен жевать сам. Орешек литературы крепчает. Он повышает требования не только к автору. Читатель, возрадуйся: на тебя возлагается высокая миссия – ты становишься сотворцом. Садись, мы станем размышлять и изобретать на равных, понимая друг друга с полуслова. Мы будем говорить сказками притчами и анекдотами.

Но кто меня здесь поймет? К интеллектуальному барьеру

здесь добавляется языковой. Я не понят в квадрате. Барьеры, барьеры. К барьеру, господа! Трах-бах! Погиб поэт, светильник разума. И толмач не помог. Да, можно пересказать фабулу, но как перевести стиль, как передать игру слов? Все-таки русский Джойс – это русский Джойс, Джойс Хоружий.

Да что я в самом деле! Помет не помет. Монеты нужны! Башли бабки капуста. Пиастры луидоры тугрики. Иди, рукопись толкай! А вот рукопись! Купите, братцы, рукопись. Исполнение изысканно и непринужденно. В стиле рококо. Поэтические фантасмагории приправлены легкими шуточками. Животики надорвете. Цена пустяшная – 3 лимона. Нет, мандаринов не надо... Сама ты манда!.. Купите, братцы. Это так весело! Способствует, бля, пищеваренью!

Но где же рукопись? Ах да! Она осталась ТАМ. Затерялась в российских просторах. Рукописи не горят, они просто теряются.

Тогда он решил попробовать последнее – заключить контракт. Я, писатель имярек, обязуюсь вручить издателю такому-то по истечении года роман объемом в 500 книжных страниц из жизни вурдалаков... Заключить контракт и получить хороший аванс. Процентом 50 от гонорара. И в издательство “Звезда” заглянул Петр Петрович. Подъем на лифте до 5-го этажа занял больше времени, чем разговор с директором. В конце разговора Бутафориним были выкрикнуты странные слова: – Не надо, я сегодня умывался!

Пролетали ли вы когда-нибудь, подобно чайке, в бело-

снежном костюме над венецийским каналом? Нет, вы никогда не пролетали над венецийским каналом!

И не шибко сердился добрый Петр Петрович, сидя и обсыхая на граните набережной. “Звезды” есть “звезды”. Что с них взять! И хотя их много, страшно далеки они от народа. Из-за угла подошел к нему арлекин.

– Что-то ты, брат, сегодня сыроват. Всё плачешь?

– Нет. Я купался.

– В одежде?

– В надежде. Иначе – неловко: люди кругом.

– Я знаю, Пьеро, почему ты грустен. Ты без денег. Но я помогу тебе.

– Ты сможешь мне найти работу?

– Ха-ха! Бери выше. Я сразу дам тебе то, что нужно. На, бери.

– Столько денег! Откуда? Кем ты работаешь?

– Я проматываю наследство. Оно большое, и мне приходится нелегко. А время уходит. Помогите мне.

– Нет.

– Почему?

– Я не могу взять деньги просто так.

– Скажи, а ты принял бы их от близкого друга?

– От друга – возможно.

– Так слушай, мое предложение не бескорыстно. Мне нужна твоя дружба. Давай дружить.

– А как это делается?

– О, очень просто! Но об этом говорят, сидя за бутылкой хорошего вина. Здесь за углом есть ресторанчик, который, кстати, так и называется – “Дружба”.

А ведь этот Шимпанзе неплохой в сущности парень, подумал Петр Петрович, сидя за бутылкой хорошего вина. Белоснежная скатерть, белое мясо рыбы, белое вино – все так и таяло в глазах и во рту. И сам Бутафорин таял. Отгадайте загадку: зимой и летом – одним цветом. Правильно, Андрей Белый. Бутафорин тоже белый, хотя и Пьеро. Что это у нас по времени? По времени это у нас второй завтрак. Завтрак второй. Оказывается, жратва тоже имеет царскую замашку присваивать себе порядковые номера. Цари, мать твою, равняйся смиренно! По порядку номеров рассчитайся! Да, хотя бы в именах, но порядок был.

А арлекин – ничего: сразу видно, что ко мне расположен. Даже, пожалуй, слишком. Ишь уставился, словно я жбан с медовухой. Эти глаза напротив. Ты закусывай, закусывай! Надо задать ему отвлекающий вопрос. – Джузеппе, ты за кого будешь: за белых али за красных? – Я законченный индивидуалист, – ответил тот. – А ты, Пьеро, не ловил ли себя на мысли, что тебе нравится мужчина?

Вот куда он клонит! Как бы ему сказать помягче, чтобы не обидеть. – Мне, Джузи, нравятся многие мужчины, в том числе и ты, ведь ты похож на Тото Кутуньо. Но представить себя с ними в постели – выше моих сил. Противно, знаешь ли. Воспитанье у меня рабоче-крестьянское.

– Послушай, – сказал Тото Джузи, – быть может, ты недо-
понимаешь. Никто не собирается посягать на твоё мужское
достоинство. И в ТАКОГО рода любви одному из партнеров
достается роль мужчины.

– Я все понимаю. Но как говорится, хрен редьки не слаще.
Женщину я могу – куда угодно, а на мужиков у меня просто
не стоит.

– Ладно, замяли! – махнул рукой Шимпанзе. – Давай вы-
пьем.

Ишь ты, шельма, думал Петр Петрович, выпивая и с инте-
ресом поглядывая на арлекина. “Небесный” оказался! А по
виду не скажешь. Хотя постой! Костюмчик-то у него в клет-
ку голубую да розовую. И глаза, кажись, подведены. Впро-
чем, косметика тут не при чем. У них здесь вся жизнь – те-
атр, и все – актеры. А актер – совсем не значит, что “голу-
бой”. Я бы и сам накраился, да не обучен. Как родился, так
и умру простоволосым.

И как телепат, подслушавший чужие мысли, достал Шим-
панзе из кармана пудреницу. Ты чересчур краснорож для
Пьеро, дай-ка я тебя напудрю.

Выпить – это завсегда. Он не страшился, как некоторые, за
своё здоровье и рассудок. Берегут свой умишко, лелеют его.
Хотят своим умишком наследить в культуре. Скажете: ну и
похвально, труд на благо человечества. Да плевали они на
человечество! Толпа нужна им лишь как среда обитания их
имени. Они презирают людей, считают их за дураков, и в то

же время ищут у этих дураков признания. Каково! А всё потому, что они трусят. Ведь жутковато пройти незамеченным, без шума и без пыли. Сразу встает горький вопрос: а был ли мальчик? Встает вопрос: зачем? Зачем бытие и сознание? И они не выдерживают этого вопроса. Как за соломинку, они начинают хвататься за кисть и за перо, начинают прыгать по сцене, одним словом, всячески выпячивают своё “я”. А известно ли вам, что многих подвижников мы не знаем и не узнаем никогда? Эти же лезут лезут лезут, в мыле и без мыла. Автографы фараонов на пирамидах, росписи в общественных туалетах. Запомните, я имярек есть, был и буду, если, конечно, запомните. А вы меня запомните! Я, блядь, храм разрушу, водородной бомбой угощу! И заметьте, они не желают ждать посмертной славы. Лучше взойти уже при жизни. Так как при жизни славу-акулу зачастую сопровождают такие красивые рыбки – деньги. И они надеются, эти выскочки, что человеческий разум восторжествует над разрушением, что им зачтутся рано или поздно их корыстные труды. Пусть надеются. Ничего другого не остается им. Но бывает настроенье, когда на вопрос: зачем? – хочется ответить иначе. Хочется подкрасться к ним таким кривым чертом с сумасшедшинкой в глазу, тронуть за плечо и сказать: – А зачем живут черви? Зачем мухи мчатся рой за роем? И сказал он: живите и плодитесь! О, спасибо спасибо, отец-творец! Ломаю шапку, бью челом в слезах умиления. Только к чему мне разум? Чтобы осознать своё ничтожество? Тогда червяк

и тот счастливее меня. И горе мне от ума.

Успокойтесь, Петр Петрович! Выпейте. Патетика не к лицу вам и не по летам. Но ведь раззадорило самомнение этих выскочек! Вся их вера в прогресс и в своё высокое предназначение напоминает уловку страуса, спрятавшего голову в песок. А за уловкой – лишь страх и нежелание взглянуть в глаза горгоне-истине. Нет, мне куда ближе те лихие ребята, что кидаются на абордаж и в упрек своим матерям (не расстарались, мол) самостоятельно abortируются из этого мира. Они знают истинную цену жизни (копейка!) и весело, с усмешкой, а то и с гомерическим хохотом, умирают они. Нет, брошу к х... ям сочинительство, брошу перо! Дайте мне саблю и Трезвого коня, а то и бомбу! А не бросить ли нам бомбу?

Должно быть, он произнес что-то вслух, потому что Шимпанзе с удивлением спросил у него: – Как! Тебе нравятся полные женщины? – Мне нравятся разные женщины, – сказал Бутафорин. И поэтому я поэт, а не самурай, добавил он про себя. Поэтому прощай, оружие! Ведь женщин так жалко, особенно детей. – Так в чем же дело! Пошли! – сказал арлекин.

Они расплатились с официанткой. Шимпанзе поцеловал ее в губы, а Петр Петрович хлопнул по ягодицам. И пошли они, обнявшись и раскачиваясь, как матросы. И хотя путь был неблизкий, они этого не заметили. Что-то произошло со временем. Прежде, знаете ли, в этом смысле было проще.

Словно линия времени из сплошной превратилась в пунктирную. Словно провалы в линии завелись. Теперь зубоскалы станут каламбурить, что у времени – “пунктик”.

Из “Дружбы” они вышли друзьями, естественно. Взяли извозчика, и его тоже сделали своим другом, естественно. Бутафорин изъявил желание управлять гондолой. Дай погребу! – сказал он лодочнику. Эврика! – крикнул новоявленный погребальщик, взмахнув веслом. – Теперь я знаю, что мне делать. Я стану таксистом. Все русские эмигранты – таксисты.

– Они таксисты поневоле, – заметил Джузеппе, – а у тебя от этой воли карманы трещат. Да и правил лодочного движения ты не знаешь.

Но Бутафорин не слушал его.

Пугало, колдовало и влекло
меня неодолимою стремниной.
Как ненадежно хрупкое весло
и как темны вампиры именины!

Однако весло нельзя было назвать хрупким. Уж если здесь кто и был хрупким, так это сам держатель весла, чуть не сказал: контрольного пакета акций. Впрочем, и держатель хрупким не был. Не то слово. Просто некоторой неустойчивостью отличался нынче Петр Петрович. И неудивительно, что при первом же погружении весло увлекло его за собой в бездну

вод.

– Плакали твои денежки! – говорил Шимпанзе, вынимая из карманов незадачливого гондольера пачки мокрых ассигнаций. – Но ничего. Не плачь. Мы их высушим. Дома у меня есть прищепки и веревка.

– Да, – говорил Петр Петрович, – деньги заслуживают того, чтобы быть повешенными. От них все зло в мире.

Потом был стол, вино, фрукты, цитрусы и дамы. Кажется, две дамы. Бутафорин сидел в халате с чужого плеча. Почему он в халате? – любопытствовали дамы. Ничего не попишешь: азия! – отвечал Джузеппе. – А если серьезно, то его костюм повесился, и он в знак траура надел халат. Мило! Мило! – закричали дамы. – А не найдется ли у вас халатов и для нас? Наши платья тоже вот-вот застрелятся утопятся отравятся, одним словом, расшибутся.

Петр Петрович, естественно, принялся ухаживать за одной из дам. Несмотря на её протесты, он упорно называл ее Моникой и приглашал пройти в опочивальню. Я не Моника и я не хочу спать, – говорила дама. – Я хочу апельсин. Я твой апельсин, – скромно вставил Бутафорин. Как говорится, кто весел, тот добьется. И вот уже бьется трепещет безумствует в экстазе баловень женщин и муз. Он возлюбил Моника, точнее, даму, которую перепутал с ней, он возлюбил ее сзади. То есть он сначала не понял, что сзади. Он искал губ, уст сахарных, дабы слиться и в поцелуе. Однако не было ни губ, ни глаз, ни даже носа. И вообще всё лицо заросло во-

лосами. Ага, догадался он наконец, это ОБРАТНАЯ сторона луны. Черные длинные шелковистые локоны. О, Моника! А какая спина! Однако она как будто стала шире в плечах. И мышцы спины как будто огрубели, стали рельефными. – И когда накачаться успела, чертовка! В смутном нехорошем предчувствии он подsunул руку под её грудь. Грудь не было! То есть была, но не та, не Моника. У Моника грудь большая и мягкая, а тут плоская и волосатая. И тут дама повернула влоборота свою голову. Бутафорин увидел профиль... Он узнал: это была... это был Шимпанзе. От неожиданности наш Петенька кончил и заснул.

8

Первым чувством его, когда он проснулся, было удивление, смешанное с испугом. Где я? Вероятно, этот вопрос материализовался на его лбу, поскольку вошедший дворецкий начал свою речь с пояснения: – Вы в доме синьора Паучини...

Это была фамилия Шимпанзе. И Бутафорин все вспомнил. Ну положим, не все, но он вспомнил главное, и ему стало мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А дворецкий продолжал: – Барин просил вас дожидаться его возвращения. Что прикажете? Завтрак в постель или сначала, может быть, примите ванну?

– Знаем мы ваши ванны! – сказал Петр Петрович. – Давайте завтрак, только пожиже. И не забудьте пива.

Подкрепившись, он почувствовал, что его совесть, которая сегодня расположилась почему-то в голове, уж не так болит. Тик-так. Он взглянул на часы. Те показывали кошмар. Боже, он проспал весь день, не говоря уже о ночи! Что подумает Моника?! Она его потеряла. Какое ему дело до Шимпанзе, ведь он любит Моника! И он бросился наутек.

Добежал доплыл долетел. И остановился, тяжело дыша, перед дверью, услышав за нею голос возлюбленной.

– Уходи же скорее! Я боюсь, он вернется.

– Не бойся, – сказал другой голос, тоже жутко знакомый, – я подсыпал ему снотворного. И вообще он пьет как русский. Нашла, с кем изменить мне.

– Он милый и, кажется, он любит меня.

– Ладно. Я не ревную. Все идет по сценарию. Пусть побалуетя напоследок.

– Что ты задумал, чудовище?

– Всего лишь очередную комедию. Жизнь так скучна, и все мы от скуки становимся шекспирами. Разница только в том, что одни двигают фигуры вымышленные, а другие – реальные. Ну, не волнуйся, ухожу. Надеюсь найти его у себя. Скажу, что ты по нему соскучилась.

Остолбенел Бутафорин, как на развилке 3-х дорог, не зная, кого начать убивать: Шимпанзе, Моника или себя. Мимо столба спокойно прошел и удалился гадкий соперник. Наконец, приняв прежний, человеческий облик, Пьеро, как Сим-Сим, открыл дверь. И между ними состоялся следую-

щий разговор.

БУТАФОРИН (сидя в кресле и скрывая дрожь колен). Что ты наделала, Моника! Я хотел жениться на тебе, а ты изменила мне с этим глубоко порочным человеком.

МОНИКА (сидя у него на коленях и ласкаясь). О чем ты, мой мальчик? Во-первых, я изменила не тебе, а ему с тобой. С ним мы старые приятели. И, во-вторых, я люблю тебя больше. Его я люблю как мужчину, а тебя как мужчину и еще как человека. Почитай мне свои стихи.

Петр Петрович на минуту задумался. И начал Петр Петрович:

Я ищу свою любовь в полях.
Нахожу и тут же вновь теряю.
Что же это? Я так не играю!
Но опять кричу её, нахал.
Я свищу свою любовь, резвясь.
Вот она ко мне несется шибко.
Дым земли столбом дрожит. Ошибка!
Это всего лишь бомба взорвалась.

Монечка, ради бога, брось скорее эту гадость, этого Шимпанзе.

ОДАЛИСКА. Не могу. Как же мы будем жить! Ведь он дает мне деньги.

У меня есть деньги! – чуть было не вскричал поэт, потро-

гав набитый, как дурак, карман, да вспомнил, что они, его деньги, из того же грязного источника. Мы оба куплены, оба подрублены, в смысле: находимся под рублем у арлекина. Я убью его, подумал он, хотя знал, что этого никогда не делает. Спрашивается: зачем он так подумал? А ради красной мысли. В человеке всё должно быть прекрасно: и одежда и тело и мысли!

– Ты выглядишь утомленным, – сказала Моника, – ты выглядишь грустным и тем не менее вкусным. Пойдем баиньки. Уже поздно. Слышишь, как кто-то долбится в стену. Это рыба-молот вышла на ночную охоту. Пойдем, утро вечера смешнее.

Она взяла его на руки и понесла в кроватку. Какие все-таки ненасытные эти итальянцы! Вот что значит обилие солнца и хорошее питание. Впрочем, Петр Петрович тоже почувствовал оживление в штанах рыбы-голода. Они легли и стали кусаться, стали друг друга есть.

9

После утреннего кофе Моника отправилась к модельеру, а Бутафорин – к синьору Паучини с определенным намерением.

Лошади шли шагом – и скоро стали. Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран! Всё было почти так. Но не совсем. Гондола шла шагом и вдруг пустилась вскачь. Как пьяный корабль, она стала рыскать в разные стороны. Ну, пассажи-

ры, – закричал лодочник, – беда: Новый год! В воду падали какие-то тяжелые предметы. Один из них угодил в растянутый над гондолой тент и запрыгал там, как на батуте. Бутафорин выглянул. С неба валилась разная утварь. Будто шел шагом метеоритный дождь. Безобразие! – заорал писатель. – И куда дожи смотрят! Но просвистевшая у виска, старая, дурно пахнувшая штиблетина заставила его замолчать и ретироваться.

Страшный мир! Он для сердца тесен.

В нем твоих поцелуев бред,
темный морок цыганских песен,
торопливый полет штиблет.

Да, и пели. И с пением выбрасывали старые вещи. Однако гондола долго увиливала от “новогодних подарков”. Лодочник был мастером своего дела. Но поскольку ему больше приходилось смотреть не вперед, а вверх, он-таки в конце концов врезался на полной скорости в гранитную набережную. От вельбота сделались щепки. Пассажиры сделались пловцами. Каждый плыл, как хотел или как умел. Кто-то кролем, кто-то брасом, кто-то ныром, а иные пешком по дну. Что поделаешь – Вавилон, то есть Венеция: смешение стилей, времен и народов. Впрочем, все стремились к одной цели, даже если плыли в разные стороны. Эта цель зовется финишем. Мы финишем окружены, он нас кругом. Куда ни

поеду, куда ни пойду, к нему заскочу не на шутку. А если ты не идешь к финишу, то финиш сам придет к тебе. Хоть стой, хоть падай. Петр Петрович выбрал на этот раз баттерфляй. Красиво идет! – удивилась подлетающая к нему фарфоровая тарелка. Залюбовалась тарелка, замешкалась и не попала в Петра Петровича тарелка.

Мокрый Бутафорин позвонил. Знакомый дворецкий открыл.

– Разве на улице дождь?

– Да. Вещий. Вещи летят как из ведра. Дождь в руку. Только нет здесь хозяйской руки. Вот в России бы вся эта у-тварь живо стала достоянием барахолки и превратилась бы в груды денег. В России такими вещами не разбрасываются. Напротив, там за ними заходят даже в чужие квартиры. Собирают вещи, рискуя жизнью. Поверите ли, какая-нибудь стальная ложка дороже человеческой жизни стоит у нас. Убить человека за вещь – в порядке вещей. Едешь ли в поезде, в автомобиле – повсюду мешки мешки мешки. Коньяк, чулки и презервативы. Иногда окликнешь, глядя в спину: сударь! Обернется – боже ж ты мой! Это МЕШОК. Отгадайте загадку: узкий лоб резинку жует. Правильно: лабазник! Он – центр мироздания, в котором – лотки ларьки лавки. Мне страшно! Дедушка, забери меня отседова, где вещи убивают людей, как сегодня шкаф едва не прихлопнул нашу гондолу. Дождь в руку. Только не надо понимать меня буквально. Мы говорим “партия”, подразумеваем “игра окончена” или

“шеф, всё пропало”!

Бутафорин схватил дворецкого за грудки.

– Я всё понял, – сказал дворецкий. – Барин в гостиной.

Шимпанзе сидел в кресле. Увидев Петра Петровича, он поднялся с распростертыми объятиями ему навстречу. Но объятия, зависнув в воздухе, не состоялись. Залп мокрых денежных пачек опередил их. Одна из пачек угодила Джузеппе в нос, и под стройным римским носом стало мокро. Арлекин, обладавший коньячной выдержкой, утерся платком белоснежного шелка. Затем он развернул его перед Бутафоринным, как матадор свой плащ перед быком.

– Чем не произведение искусства! – сказал он, имея в виду кровавое пятно. – Я никогда не сомневался в твоей гениальности. Квадратный Малевич посрамлен. Я повешу это в спальне над кроватью. Прости: я не спросил, чем ты взволнован. А! Догадываюсь: тебе надоели деньги.

– Русский поэт не продается! – гордо сказал Петр Петрович. – И художник тоже. Сейчас же отдай мне моё полотно, то есть шелк.

ШИМПАНЗЕ. Конечно-конечно, не хочешь – не бери. Догадываюсь: ты это – из-за Моники. Напрасно. Она твоя.

БУТАФОРИН. Она не нужна мне, пока ты даешь ей деньги, пока она тебе дает.

АРЛЕКИН. Ну и правильно. Мало что ли баб вокруг да около. Кстати, как ты относишься к экзотике?

ПЬЕРО. Ничто экзотическое мне не чуждо.

ДЖУЗИ. Слышу не мальчика, но поэта! Пойдем со мной? Я собираюсь в китайский павильон отведать восточных сладостей.

ПЕТЯ. Попробуйте бабу Нти, китайское наваждение, го-варивал Ильич. Что ж, мы верны его заветам.

10

Здание как здание. Но фонарь над входом был действительно КИТАЙСКИЙ. Он осматривал две остановившиеся перед ним фигуры. Под его узким желтым взглядом те раздвоились, в смысле: отбросили тени. Одна тень была стройной, другая – мешковатой, с длинными обезьяньими руками. Какие все-таки эти люди мутные, непрозрачные, думал фонарь. Никогда не видно, что у них с другой стороны. За ними вечно стелется мрак. Он повторяет их движения, обезьянничает, да он смеется над ними! Но я не выдам его, потому что одновременно с ним умру и я. Так думал китайский фонарь. А вот что думал китайский человек, хозяин заведенья, когда увидел, как открылась дверь и вошли две фигуры в черных карнавальных полумасках, – уж этого мы не знаем. Чужая душа – потемки. И действительно, в помещенье было сумрачно. Лишь тусклый малиновый свет был. Здесь – “малина”! – подумал сами знаете кто. А хозяин заведенья всё кланялся как заводной и спрашивал, ломая язык, чего желают синьоры, того или этого. Сначала мы того, сказал арлекин, сначала мы покурим. Гашиш или опий? Мы – народ

набожный, сказал арлекин, нам бы опиум.

Курильня, куда китаец Чу привел гостей, представляла собой узкую длинную комнату, по одну сторону которой располагался ряд ячеек кабинок купе. Стенками, разделяющими купе, служила плотная портьерная ткань. А вход в каждую кабинку украшал “рассыпной” занавес из тонкого бамбука. Внутри ячейки на полу лежала тростниковая циновка, и у ее изголовья стоял миниатюрный кукольный столик, где помещались только пепельница да такая же маленькая, словно игрушечная, трубка. Что они, играть со мной вздумали, недоумевал Пьеро. Что тут курить-то! И как бы читая его мысли, Чу заметил: достаточно одной затяжки! Чу сделал жест, мол, располагайтесь, сейчас вас обслужат, сейчас вам набьют. Пьеро лег на циновку. Вместо Чу перед ним очутился подросток женского рода. Девочка быстро проделала с трубкой несколько манипуляций. Трубка задымилась. На дне ее кратера замерцал уголек, чуть больше искры. Быстро и в то же время осторожно, боясь сломать или выронить и в то же время боясь, что драгоценный уголек сторит не распробованным, Пьеро взял трубку и, не задерживая дым во рту, глубоко затянулся. Рука его застыла в воздухе. Китайка освободила ее от использованного потухшего вулкана, положила экс-вулкан в пепельницу и вышла. Поэт ничего не заметил: он был далеко.

Он носился подобно демону над грешной землей. Впрочем, земля выглядела весело. Она цвела и пахла. Она сме-

ялась. Он не чувствовал под собой ног. Да что там! Он не чувствовал всего тела, хотя наблюдал его. Тело его стало таким сильным и ловким, что уж не подчинялось притяжению земли. Душа его тоже вышла за рамки. Из тесноты, из берегов тела она вышла. Всемирный потоп! Спасите наши души! От добра добро не спасают. Или вы хотели сказать: спасите наши туши! – да дикция подвела? Ах, у вас мост сломался. Впрочем, это всё едино. Тушам будет не до шуток. Страшный душевный суд ожидает их. Их будут тушить, но не как свет, которого в них нет. Они пойдут, как им положено, на тушенку. Маэстро, мы грустны, сыграйте, пожалуйста, туш. Но нет! Как душа, его переполняла радость. Казалось, во всем, что он видит, к чему прикасается, он находит отзвук взаимопонимание взаимопревращение. Он во всём и всё в нём. Казалось бы, обыкновенные картины. Например, гусеница, спящая на листе. Оба зелененькие. Ты и я одной крови. Но его ощущение полноты жизни придавало этой картине некую таинственность, словно вот-вот должно произойти чудо. И ему приятно и весело было смотреть на лист и на гусеницу. Не так ли ученый впервые смотрит в микроскоп? Не так ли создатель обходит дозором земные владения свои?

Что я, тело или дух?

Я летаю, словно пух.

Не ругай меня, мамаша,
что кормлю собою мух.

Кто я, небо иль земля?
Я порхаю без руля.
И меня за нитку держит,
словно змея, конопля.

Посадка была невкусной. Страшно хотелось сладкого. Где же этот Шимпанзе, пошевелился Бутафорин, он обещал восточных сладостей. Стукнули кости бамбука и вошел легок на помине. Стреноженные слабостью, обнявшись, они медленно выходили из закура. В столовой их ждало третье, на которое было шампанское, изюм, урюк и грецкие орехи. Вскоре щеки курильщиков оттаяли, в глазах заплескалось оживленье. По знаку хозяина перед гостями встала во весь рост музыка музыка музыка, от которой так хочется жить. И альбом с фотографиями девочек на столе появился. Нью. Во весь рост. Анфас и профиль. И имя под каждым изображением. Шимпанзе овладел альбомом. Шимпанзе отвел китаяца в сторонку.

– Здесь нет Сюй, – сказал он.

– Она больше не работает, – сказал хозяин.

– Мой друг хочет только Сюй.

– Никак нельзя, никак нельзя!

Арлекин достал кошелек.

– Хорошо, я все скажу, – залопотал китаец. – Сюй больна.

У нее СПИД. Сюй умирает.

На что арлекин заметил:

– Откровенность за откровенность. Видишь ли, мой друг хочет расстаться с жизнью. Но не как попало. Он хочет умереть от любви. Что поделаешь, поэт. Трудный случай, как говорят доктора. Он много волочился за женщинами и считает СПИД единственно логичным и естественным завершением своей одиссеи. Нельзя отказать человеку в его последней просьбе. Да и опасно! – усилил голос Джузеппе, видя на лице китайца протест. – Он такое натворит! Он с собой покончит! Прямо здесь. Из пистолета. А мне бы не хотелось менять привычку и искать другое подобное заведение.

– Холосо-холосо, – согласился хозяин, – но моя боица: Сюй не захочет.

– Объясни ей всё как есть. Скажи, он знает про ее болезнь и потому выбрал именно её. Он любил любить, но теперь устал. Но он жить не может без любви! В конце концов у человека реально есть только одно право – право выбора: быть или не быть.

Чу поклонился и вышел. Арлекин вернулся к пьеро. Постой! – воскликнул он, заметив пустую бутылку. – Ты выпил без меня!

Молодая и красивая, она лежала на тахте, молодая и красивая. И канарейка в клетке свистела: суй-суй. И все тот же тусклый малиновый свет свет свет. Она улыбнулась вошедшему, и он медленным движением снял с нее одеяло. А с себя он снял белый атласный костюм с кружевным вокругую воротничком и черную карнавальную полумаску. Нет, глаза

ее были не узкие. Они были продолговатые, они были раскосые. Сквозь золото щек тускло мерцал румянец. Прижимаясь всем телом, он стал гладить ее, гладкую и нагую, сладкую и другую. Она обхватила его шею руками. Она залепетала что-то на родном языке. На глазах ее выступили слезы. Он не понимал, но он чувствовал в ее словах и взгляде нежность и даже любовь. Одно из двух: либо она – хорошая актриса, либо я действительно понравился ей. Как бы там не было, он весь затрепетал в ответ. И он вошел в нее. И канарейка в клетке свистела: суй-суй. Она старалась изо всех сил, хотя ей было тяжело. Он видел это. Тело ее покрыла испарина, легким недоставало воздуху. Ай да китаянки! Какое исступленье! Отдается словно в последний раз. Где бы были наши семьи, если бы все проститутки были такими!?

По окончании он почувствовал, что прилип к ней. Не плачь. Отчего ты плачешь? Или это слезы счастья?

11

Как и следовало ожидать, через месяц Петр Петрович слег. Моника и синьор Паучини, который заходил чуть ли не каждый день, заботились о нем. Ему отвели отдельную комнату возле туалета и даже наняли няню, чтобы ухаживала за больным, читая ему на ночь сказки.

Впрочем, Петр Петрович засыпал хорошо и без сказок. Таблетки, что прописал доктор, видимо, действовали как снотворное. Когда Петр Петрович при первом осмотре

спросил у этого доктора, лучшего специалиста Венеции, по утверждению Джузеппе, спросил, ЧТО у него, – тот весело хлопнул Петра Петровича по плечу и сказал: – Обычное дело! Пейте – и скоро всё пройдет. И чего радуется? – недоумевал больной. – Уж больно он молод для лучшего специалиста!

Сам Петр Петрович полагал, что внутрь его проникла какая-то простудная инфекция, так как он весь пошел сыпью и немножко томило в грудях. Надо же, думал он, простыть среди лета в Италии! Проклятый муссон! Ветер с моря, тише дуи и вей, видишь, Петру Петровичу не по себе.

Бутафорин ползет на четвереньках по зимнему холодному гранитному заплеванному полу Екатеринбургского железнодорожного вокзала и, подбирая какой-то мусор, хлебные корки и рыбные кости, быстро кладет их в рот и жует.

Видишь, на нем полосатые штаны и пижама, в которых он похож то ли на матроса, то ли на тигра, а может, и на человека, находящегося на излечении. Последнее, пожалуй, самое верное, потому что Петр Петрович не рычал, не отплясывал джигу, а тихо лежал в постели, вставая лишь по крайней нужде. Моника жалела Петра Петровича, и ей нравился его новый костюм. Она даже пригласила фотографа, чтобы сняться с Петром Петровичем, полосато лежащим у ее ног. Ведь светские львицы так любят сниматься с разными хищниками: тиграми, кошками, матросами или хотя бы с их шкурами. Остановись, прекрасное мгновение!

Время пошло медленнее. Бутафорин пытался подстегнуть его привычным чтением художественной литературы. Но слабость и легкое подташнивание не способствовали этому. Оставалось только, закрыв веки, как Вию, размышлять о нашем веке.

Недолго он пребывал в заблуждении относительно характера своей болезни. Случай помог ему установить истинный диагноз. Случай приоткрыл двери его комнаты. Случай двумя рюмками коньяка развязал Шимпанзе язык.

– Меня умиляет, как легкомысленно мы относимся к болезни других людей. Ну поболит человек и перестанет. С кем, мол, не бывает. Между тем в Писании сказано: “И всякий раз навек прощайтесь”! Вот ты кудахчешь над Пьеро, кормишь его фруктами, но держу пари, тебе не пришло и в голову, что он может умереть.

– Разве что-нибудь серьезное? – спросила Моника. – Доктор сказал, что у него обострение хронического юмора.

– Доктор – МОЙ человек, – заявил Джузеппе. – Впрочем, он не обманул. Но он выразился слишком фигурально. А я тебе скажу проще: оставь наивную надежду. Ни он, ни у него больше не встанет. Это СПИД!

И дико так заржал синьор Паучини.

– И знаешь, кто заразил его? Я. Нет, ты не то подумала. Я просто толкнул Пьеро в объятия женщины, будучи осведомлен о ее заболевании. Кстати, он потом тепло отзывался о ней.

– Но ведь это убийство! – воскликнула Моника.

– А как же, а как же! И еще какое! Пырнуть человека ножом или подсыпать ему яду – просто вульгарщина в сравнении с этим. Здесь чувствуется тонкий ум аристократа. Убийство в стиле барокко, если так можно выразиться. И мне, право, обидно твоё удивление. Ты явно недооценивала меня.

– Я знала, что ты чудовище! Я хотела предупредить Пьеро, чтобы он остерегался тебя. Ах, зачем я это не сделала! Ведь уже был один Пьеро, который пропал без вести.

– Да, – сказал синьор Паучини, – это был Пьеро 1. Я уговорил его броситься в мартеновскую печь. Тоже, по-моему, сработано гениально. Я и пальцем к нему не притронулся. Использовал только силу убеждения. И было не очень трудно, ибо все Пьеро такие закомплексованные меланхолики. Это убийство столь тонкое, что почти не убийство. Огонь горел, я лишь подлил масла. В итоге: ни единого следа, включая и сам труп. Поди теперь, докажи!.. Пьеро 1, Пьеро 2, а поживем, будет и третий. Иногда я вижу себя санитаром общества, избавляющим его от больных особей.

– Третьего не будет! – заявила Моника. – Я заявлю в полицию.

– Ты!?! – рассмеялся Джузеппе. – Скорее рак на горе свистнет. Мне ли тебя не знать! Как ты обойдешься, даже временно, пока ищешь нового “кошелька”, без денег? Но главное не в этом. Хочешь, я скажу тебе, почему ты не предупредила Пьеро о возможной опасности? Тебе наплевать. Ведь ты

любишь только себя. Как и мне, Пьеро нужны тебе для игры. Только моя игра крупнее. Ты думаешь, это я убил Пьеро, это мне дадут 15 суток? Нет, это мы убили Пьеро, это нам дадут 15 суток!

Но убивают все любимых, –
пусть знают все о том, –
один убьет жестоким взглядом,
другой – обманным сном,
трусливый – лживым поцелуем,
а тот, кто смел – мечом!

– Свинья! – сказала Моника. – Не смей меня пачкать своей грязью.

– В гневе ты хорошеешь, – заметил Шимпанзе. – Бранись, но не забывай, что я знаю твоё слабое место, взявшись за которое я заставлю тебя петь по-другому.

– Уходи! Сейчас же уходи! Сволочь. Сукин сын! Не смей прикасаться... Ах! Джузи... Милый... Еще...

Петр Петрович слышал все это.

Но чу! Читатель хочет поймать автора на несуразностях. Если Моника жила с Бутафориним яко жена с мужем, значит, она тоже должна была заболеть. Почему она не пугается? Или ей наплевать? Наплевать ли ей на себя и на Петра Петровича? Или только на себя? Конечно, хорошо было бы проучить синьора Паучини, объявив, что Моника так ис-

пугалась за возлюбленного, что о своей жизни и не вспомнила. А то еще представим такое: она затаилась, чтобы отомстить и наградить Шимпанзе тем же. Кто к нам с мечом придет... Мечты мечты, а в жизни всё иначе. И Моника не заразилась лишь по той простой причине, что имела прививку. Дети мои, делайте от СПИДА прививку и спите спокойно!

Петр Петрович слышал всё это. Но ни гнев на обидчика, ни страх за своё будущее не овладели им. Смерть? – подумал он. – Тем лучше! Довольно я насмотрелся! Я устал от мира, где царит изменчивость, где дружба оборачивается враждой, а любовь граничит с похотью, где знаниям предпочитают зрелища, где легкий порыв ветра уносит целые замки, и негде живущему преклонить главы своей. Я устал и благодарен моему убийце. Убийцы, вы дураки! После мокрого дела вас распирает гордость: какие мы смелые и сильные! Мы прыгнули через запрет! Мы приняли сторону зла! И вы глядите в зеркале своё отражение и целуете себя в неумытый кулак. Представляю, как вытянулись бы ваши рожи, если бы вы узнали, что, отправив человека в ЛУЧШИЙ мир, вы оказали ему тем самым добрую услугу, и что вообще это не вы занимаетесь “отправкой”, а высший разум вашими руками. Но, милые мои убийцы ублюдки ублюдки, ТС-С-С! Я вам ничего не говорил. А то вдруг до вас дойдет (хотя вряд ли), и вы перестанете делать своё грязное своё нужное дело, перестанете лить кровь на мельницу добра.

Почему Петр Петрович охарактеризовал тот свет как лучший, трудно сказать. Не подтолкнуло ли его к этому наблюдение, что самые чистые умные талантливые здесь не задерживаются? Они как бы досрочно сдают экзамен на духовную степень. А может быть, просто застряла в мозгу Петра Петровича строчка из популярной песни, где так и говорится: лучше нету ТОГО свету!

И принялся ждать смерть Петр Петрович. Принялся он писать завещанье. Но поскольку ни материальных ценностей, ни родственников у него не было, он раздавал свой внутренний опыт, раздавал направо и налево, кому ни попадя. Он писал:

Завещанье

Да, дети мои, ухожу преждевременно и почти добровольно. Да, не повезло. Лошади попались привередливые.

Но, дети мои, мой уход – не пример для подражания. И нужно бороться до конца, а то есть не сдаваться. Нужно постоянно повторять лошадям: но-о-о!

Да, все мы подобны детям, строящим песочные замки на берегу моря, когда набегающая волна смывает эти замки и самих строителей. Пусть так. Это ничего. Это не важно.

А важен сам процесс. Жить – это все равно что иметь женщину или музу. Ты ловишь кайф, а рождается там что-либо или не рождается и куда всё это пойдет – не твоя забота. И не надо мучить себя глупым разлагающим декадентским вопросом о

конечной цели.

Да, ничто не вечно. Да, всё коню под хвост.

Но! Жить – так жить, в хвост и в гриву, не хороня разум в конюшне, а пуская его галопом, чтобы было радостно за себя и по-человечески гордо.

Вот, мои дети. Значит, скачите, стройте замки, вкатывайте в гору камень, развивайте интеллект, одним словом, ловите кайф.

Всегда с вами –

Петр Петрович Буденный

(по совместительству – Альбер Камю)

И ждал смерть Петр Петрович.

День ждал, два, а той все нет. Разозлился Бутафорин да как заворчит: – Суки протокольные! И убить толком не могут! Встал он с кровати и переоделся в чистое, больничный наряд свой заменив праздничным пьеровским. Что ни говори, а эта трагикомическая одежда стала ему привычна и даже близка. Гладкий атлас приятно скользил по исхудавшему телу. Бутафорин “умылся” электробритвой, как лапой кот. Хорошо бы сделать клизму, подумал он, да сил нет. Голова кружилась, колени дрожали. Он подошел к окну, за которым сгушалась ночь. Что такое ночь? Это день в черной маске. Карнавал продолжается. Король карнавала, товарищ День, заметив в окне неприкрытое лицо, испуганно зашипел: – Вы с ума сошли! Сейчас же наденьте маску. Вы что

хотите праздник сорвать!?! Бутафорин не обратил на короля внимания. Он смотрел сквозь него на набережную, где гуляла праздничная толпа. Они изволили поужинать и таперича ждут начала фейерверка. Дамы доверчиво держатся за мужчин, услужливо согнувших в локтях руки и наклоняющих к ним вполоборота свои лица, то есть, простите, маски. Иные открывают рты, видимо, о чем-то говоря. Но Бутафорину не слышно: для него они немые. Рыбный “свет” разгулялся. Свет хлещет из фонарей, как желтая кровь. А что? Если есть кровь голубая, то почему бы не быть и желтой! Я даже могу сказать, у кого она встречается. У интеллигентов в первом поколении. Не верите? Зарежьте одного, и тогда сами убедитесь... Мост, как ятаган, разрубал водную артерию города. Вдали раздался треск, и во всё небо расцвел цветок фейерверка. Расцвел и тут же пропал. МГНОВЕННЫЙ цветок. Это цветок – тебе, моя Моника! Лови! Не поймала? Я не виноват. Он как салют. Враг разбит и уничтожен, победа за нами! Бутафорин оглянулся: за ним ничего не было.

Только в пальцах роза или склянка –

Адриатика зеленая, прости!

Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
как от этой смерти праздничной уйти?

И в ванную комнату он направился. Хватило одного щелчка, чтобы мрак исчез в застенках ЧеКа, чтобы со стены на

Пьеро глянул он сам же. Они улыбнулись друг другу неестественной и потому жутковатой улыбкой. Они отдернули мутный плотный полиэтиленовый занавес, за которым стояла, нет, лежала она. Она была белоснежней, чем их комбинезоны. Фарфор белоснежней атласа. Она была роскошной редкостью в этом городе. Бутафорин подсознательно искал ее, и вот наконец встретил. Она напомнила ему зимнюю родину и его белую былую русскую жену. Она лежала в ожидании, чтобы кто-нибудь ее наполнил. Такая открытая, такая женственная! Он открыл кран. Теперь – нож поострее. Он выбрал на кухне и вернулся. Теперь и другой Пьеро был с “пером”. Господа, только без поножовщины! Ну что вы, они друзья по несчастью. Но первый в огне не сгорел, будем надеяться, что и второй в воде не утонет, а третий не вылетит в медную трубу. Ванна наполнилась. Зеленое Адриатическое море плеснуло через край, когда он, закрыв кран, не раздеваясь, погрузился в него. Вот и сбывается детская мечта! Пусть моряком он не стал, зато умрет совсем по-матросски. Со всем по-матросски. Я покажу этим итальяшкам (он покажет этим итальяшкам), что русский поэт не хуже их сранных патрициев. И как поверженный гладиатор, он поднял левую руку. Но не о пощаде просил он. Умереть, засучив рукава – вот что выражал его жест. И длинный атласный рукав скатился вниз, сгрудясь у предплечья. Настал самый трудный самый ответственный момент. Так. Крепче упереться головой и ногами. Где? Здесь, у локтевого сгиба. Только бы достать арте-

рию! Ох, подведет проклятая слабость! Но! И-и-и...

Руки его бессильно лежали вдоль туловища. Левая дымилась красным дымом. И зеленое море мутнело – Адриатика, прости! – на глазах. Кажется, удачно! Истекаю апельсиновым соком.

Венеция, вино, но вот – вина
и, дальше-больше, взрезанные вены.
Я выпиваю ночь свою до дна,
как яд, что убивает постепенно.

Только бы не ворвались, не вмешались! Смерть – дело интимное. Опять что ли всё сначала? Стена возле ванной облицована голубым и желтым кафелем, расположенным в шахматном порядке. Шахматная стена. Однако, господин штабс-капитан, партия!

Бедный бедный Петр Петрович! Тебя словно не бывало. В самом деле, был ли ты? Настоящий ли ты? Неизвестно. Но как бы там ни было, я твердо знаю одно: ты страдал и тебе было больно.

Бутафорин ползет на четвереньках по зимнему холодному гранитному заплеванному полу Екатеринбургского железнодорожного вокзала и, подбирая какой-то мусор, хлебные крошки и рыбные кости, быстро кладет в рот и жует. На

него страшно взглянуть, не говоря уже о том, чтобы понять. Это уже не человек, по крайней мере, ЭТО не звучит гордо. К счастью, дни его сочтены.

Если его спросить, он с трудом вспомнит своё имя. Между тем, поговаривают, что когда-то он был неплохим поэтом. Впрочем, что с того?! Кто из нас по молодости не марал бумаги?

1993-94 гг.